

*Прогулки одинокого
мечтателя*

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ

И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга — без иного собеседника, кроме самого себя. Самый общительный и любящий среди людей оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды. В своей изощренной ненависти они выискали, какое мучение будет жесточе для моей чувствительной души, и грубо порвали все узы, меня с ними связывавшие. Я продолжал бы любить людей против их желания. Только перестав быть людьми, могли бы они отделаться от моего чувства. И вот они мне чужие, незнакомые, никто, наконец, — раз они этого хотели. А я — что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне остается еще решить. К сожалению, этому должен предшествовать беглый обзор моего положения. Это ступень, которой мне нельзя миновать при переходе от них к себе.

Вот уже пятнадцать лет и даже больше, как я нахожусь в этом странном положении, а оно все еще кажется мне сном. Мне все представляется, что меня мучает несварение желудка, что я тревожно сплю и скоро проснусь, утешенный в своих огорчениях тем, что увижу себя среди друзей. Да, нет сомнений! Сам того не заметив, я сделал прыжок из яви в сон

или скорей — из жизни в смерть. Вырванный, не знаю как, из обычного хода вещей, я оказался ввергнутым в непостижимый хаос, в котором ничего не различаю; и чем больше думаю о теперешнем своем положении, тем меньше могу понять, где нахожусь.

Ах, как мог я предвидеть участь, меня ожидающую? Как могу я понять ее теперь, когда она постигла меня? Мог ли я, рассуждая здраво, предположить, что когда-нибудь, оставаясь тем самым, кем был, тем, кем остаюсь до сих пор, я прослышу, буду считаться настоящим чудовищем, отравителем, убийцей, что стану извергом человеческого рода, игрушкой черни, что взамен приветствия прохожие будут плевать на меня, что целое поколение станет в полном согласии развлекаться тем, чтобы заживо меня похоронить? Когда совершился этот странный переворот, я, захваченный врасплох, сначала был потрясен им. Мое волнение, негодование довели меня до исступления, которое едва могло успокоиться за десять лет; и в этот промежуток времени, переходя от заблуждения к заблуждению, от ошибки к ошибке, от безрассудства к безрассудству, я доставил своими неосторожными поступками властителям судьбы моей все орудия, которые они умело пустили в ход, чтобы сделать ее непоправимой.

Я долго отбивался — столь же отчаянно, сколь и тщетно. Не обладая ни ловкостью, ни хитростью, ни умением притворствоваться, неосмотрительный, откровенный, прямой, нетерпеливый, вспыльчивый, я, отбиваясь, только сильнее запутывался и давал им все больший перевес над собой, которым они не

упускали случая воспользоваться. Наконец, видя, что все мои усилия напрасны, и терзаясь без всякого толку, я принял то единственное решение, которое мог еще принять, — покорился своей судьбе, не идя против неизбежного. Я нашел в этой безропотности возмещение за все свои страдания — благодаря доставляемому ею спокойствию, которое было бы несовместимо с непрерывным трудом сопротивления, столь же тягостного, сколь и бесплодного.

Еще одно содействовало этому спокойствию. Как ни изощрялись мои преследователи в своей ненависти, неистовая злоба заставила их позабыть одно истязание: они не догадались так соразмерить свои действия, чтобы поддерживать и беспрестанно возобновлять мои муки, все время нанося мне новые удары. Если б у них хватило хитрости оставить мне хоть луч надежды, они этим еще удержали бы меня в своих руках. Они могли бы еще обратить меня в свою игрушку при помощи какой-нибудь лживой приманки и беспрестанно терзать мне сердце муками обманутого ожидания. Но они сразу исчерпали все свои средства. Ничего мне не оставив, они сами лишили себя всего. Клевету, унижения, издевательства, позор, которые они на меня обрушили, уже нельзя ни усилить, ни смягчить; им в той же мере недоступно отягчить все это, как мне — от этого избавиться. Они так поторопились переполнить чашу моей скорби, что нет такой человеческой власти, которая, будь она поддержана всеми кознями ада, могла бы что-нибудь добавить в нее. Даже физическая боль, вместо того чтоб увеличивать мои муки, только отвлекала бы меня от них. Исторгая у меня

крики, она давала бы мне возможность удерживаться от стонов, и терзание сердца было бы прервано терзанием тела.

Зачем же мне еще бояться их, если все уже сделано? Не имея больше возможности ухудшить мое состояние, они уже не могут вызывать во мне тревоги. Тревога и ужас — вот страдания, от которых они навсегда освободили меня: это все-таки облегчение. Действительные страдания имеют мало власти надо мной; я легко переношу те, которые испытываю, но не те, которых ожидаю. Мое испуганное воображение приводит их в сочетания, переворачивает, растягивает и умножает. Ожиданье их терзает меня в сто раз больше, чем их присутствие, и угроза для меня ужасней самого удара. Как только они приходят, свершение отнимает у них все, что в них было воображаемого, и сводит их к истинным размерам. Тут я нахожу, что они гораздо меньше, чем я представлял себе, и даже посреди мук все же чувствую облегчение. В этом состоянии, когда я избавлен от всякой новой боязни и свободен от опасений, от надежды, довольно будет привычки, чтобы с каждым днем мое положение, которого уже ничто не может ухудшить, делалось для меня все более сносным; и по мере того как ощущение его притупляется в силу длительности, они теряют возможность оживать его. Вот добро, которое сделали мне мои преследователи, нерасчетливо исчерпав все возможности излить свою злобу. Они лишили себя всякой власти надо мной, и отныне я могу смеяться над ними.

Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как в сердце моем вновь воцарился полный покой. Уже

давно я перестал чего-либо бояться; но я еще надеялся, и надежда эта, то успокаивающая, то обманчивая, была моим слабым местом, ибо по этой причине множество разнообразных страстей не переставало волновать меня. Недавно событие, столь же печальное, сколь неожиданное, погасило наконец в моем сердце последний слабый луч надежды и показало мне, что судьба моя здесь, на земле, определилась навсегда и бесповоротно. С этих пор я безоговорочно смирился и обрел мир.

Как только я начал проникать в заговор во всем его объеме, я навсегда оставил мысль при жизни вернуть к себе людей, и, поскольку такой возврат уже не мог быть взаимным, он отныне был мне даже не нужен. Напрасно они снова вернулись бы ко мне, — они уже не нашли бы меня. При том презрении, которое они внушили мне, общение с ними было бы для меня бессмысленно и даже тягостно, и я во сто раз счастливей в своем одиночестве, чем мог бы быть, живя с ними. Они вырвали из моего сердца все радости общения; в мои годы эти радости уже не могут вновь пустить там ростки; слишком поздно. Отныне, будут ли мне делать добро или зло, — все, что исходит от людей, мне безразлично, и что бы мои современники ни делали, они всегда будут для меня ничем.

Но я еще верил в будущее и надеялся, что другое, лучшее поколение, тщательней рассмотрев, как нынешнее судило обо мне и поступило со мной, без труда проникнет в ухищрения его руководителей и увидит меня наконец таким, каков я есть. Именно

эта надежда побудила меня написать мои «Диалоги»¹ и толкнула меня на тысячу безумных попыток передать их потомству. Эта надежда, хоть и отдаленная, держала мою душу в такой же тревоге, как в то время, когда я искал еще в этом веке справедливое сердце, и чаяния мои, напрасно устремлявшиеся вдаль, также делали меня игрушкой людей сегодняшнего дня. Я рассказал в своих «Диалогах», на чем основывал свое ожидание. Я обманулся. К счастью, я понял это вовремя, чтобы изведать еще до наступления своего последнего часа период полной безмятежности и совершенного покоя. Период этот начался в ту пору, о которой я здесь говорю, и у меня есть основания думать, что он не будет прерван.

Редкий день проходит без того, чтобы новые размышления не подтверждали мне, как я ошибался, рассчитывая на возвращение ко мне людей, хотя бы в другом поколении, — поскольку во всем, что касается меня, ими руководят вожаки, непрерывно выдвигаемые корпорациями, которые относятся ко мне с неприязнью. Отдельные лица умирают, но не умирают сообщества людей. Одни и те же страсти живут в них бесконечно, и их пламенная ненависть, бессмертная, как демон, ее внушающий, всегда одинаково действенна. Когда отдельные мои враги будут мертвы, врачи и ораторьянцы все еще будут жи-

¹ «Диалоги» написаны Руссо в 1772–1776 гг. в Париже, после долгих скитаний (Швейцария, Англия, затем Флери, Три, Гренобль, Макен во Франции) и запрета чтения «Исповеди». Наряду с ценными страницами они содержат многое, что должно быть приписано удрученному состоянию автора в результате пережитых гонений. — *Здесь и далее, кроме указанных особо, примеч. пер.*

вы, и даже если у меня не будет других преследователей, кроме этих двух корпораций, я могу быть уверен, что они не оставят мою память в покое, как при жизни не оставляли в покое меня самого. Может быть, со временем врачи, которых я действительно обидел, и успокоятся; но ораторьянцы, которых я любил, уважал, которым всецело доверял и которых никогда не обижал, ораторьянцы — церковники и полумонахи — навсегда, останутся немоллимыми: собственная их несправедливость составляет мое преступление, и этого их самолюбие никогда мне не простит; а публика, враждебность которой они будут все время заботливо поддерживать и оживлять, не успокоится, как и они.

Все кончено для меня на земле. Тут мне не могут причинить ни добра, ни зла. Мне не на что больше надеяться и нечего бояться в этом мире, и вот я спокоен в глубине пропасти, бедный смертный, — обездоленный, но бесстрастный, как сам Бог.

Все, что вне меня, — отныне чуждо мне. У меня нет в этом мире ни близких, ни мне подобных, ни братьев. Я на земле, как на чужой планете, куда свалился с той, на которой прежде жил. Если я что и различаю вокруг себя, то лишь скорбные и раздирающие сердце предметы, и на все, что касается и окружает меня, не могу кинуть взгляда без того, чтобы не найти там какого-нибудь повода к презрительному негодованию или удручающей боли. Отстраним же от себя все мучительные предметы; думать о них столь же горько, сколь и бесполезно. Одинокий на весь остаток жизни, поскольку лишь в себе нахожу я утешение, надежду и мир, я не должен и не

хочу заниматься ничем, кроме себя. В этом состоянии я возобновляю то суровое и искреннее исследование, которое когда-то назвал «Исповедью». Я посвящаю последние дни свои изучению самого себя и заблаговременной подготовке к отчету, который не замедлю дать о себе. Отдадимся же целиком отраде собеседования с собственной душой, раз она — единственное, что люди не могут у меня отнять. Если путем размышления о своих душевных склонностях я получу возможность внести в них больше порядка и устранить зло, которое, может быть, там еще остается, размышления мои не окажутся вовсе бесполезными, и хоть я не гожусь больше ни на что на земле, мои последние дни не будут совершенно потеряны. Приволье моих ежедневных прогулок нередко было исполнено пленительных созерцаний, и мне жаль, что я утратил воспоминание о них. Закреплю на бумаге те, которые еще могут всплыть в моей памяти; всякий раз, перечитывая их, я буду переживать их радость. Буду забывать свои несчастья, своих преследователей, свои унижения, думая о награде, которую заслуживало мое сердце.

Эти листки, собственно, лишь беспорядочный дневник моих мечтаний. В них будет много говорить обо мне, потому что размышляющий отшельник неизбежно много занимается самим собой. Впрочем, мысли о посторонних предметах, приходящие мне в голову во время прогулки, точно так же займут здесь свое место. Я буду передавать все, что думал, в том виде, как это у меня возникло, и с той же связностью, с какою мысли вчерашнего дня сочетаются обычно с мыслями сегодняшнего. Но из

этого всегда будет получаться новое познание моей природы и моего характера на основе чувств и мыслей, составляющих ежедневную пищу моего ума в том странном положении, в котором я нахожусь. Таким образом, на эти листки можно смотреть, как на придаток к моей «Исповеди», но я уже не даю им этого заглавия, так как чувствую, что мне не придется сказать ничего, что заслуживало бы его. Сердце мое очистилось в горниле бедствий, и я, тщательно его исследуя, едва нахожу в нем остатки дурных стремлений. В чем мне еще исповедоваться, если все земные привязанности оттуда вырваны? Мне уже не за что ни хвалить, ни бранить себя: отныне я ничто среди людей, и это все, чем я могу быть, не имея с ними никакой действительной связи, никакого подлинного общения. После того как я лишился возможности сделать какое бы то ни было добро, которое не обратилось бы в зло, всякой возможности действовать, не вредя ближнему или самому себе, воздержание стало единственным моим долгом, и я исполняю его, поскольку это зависит от меня. Но в этом бездействии тела душа моя продолжает действовать; она еще порождает чувства, мысли, и ее внутренняя, нравственная жизнь как будто еще возросла благодаря смерти всех земных и временных интересов. Тело мое для меня теперь только обуза, только помеха, и я заранее освобождаюсь от него, насколько могу.

Столь необычное состояние, конечно, заслуживает того, чтобы его изучить и описать, и этому-то изучению посвящаю я свои последние досуги. Чтобы сделать его успешным, надо бы вести его по по-

рядку и методически; но я не способен к такой работе, и она даже удалила бы меня от цели, которая состоит в том, чтобы дать себе отчет в изменениях своей души и в их последовательности. В известном смысле я произведу на самом себе те опыты, которые физики производят над воздухом, чтобы знать ежедневные изменения в его состоянии. Я приложу к своей душе барометр, и эти опыты, хорошо налаженные и долгое время повторяемые, могут дать мне результаты столь же надежные, как и у них. Однако у меня более скромные намерения. Я довольствуюсь тем, что буду регистрировать показания, не стремясь свести их в систему. Я ставлю себе ту же задачу, что и Монтень, — но преследую цель совершенно противоположную: он писал «Опыты» только для других, а я пишу свои «Прогулки» только для себя. Если в более глубокой старости, уже приближаясь к концу, я останусь — надеюсь — в том же умонастроении, что и сейчас, то, читая их, буду вспоминать радость, которую испытываю теперь, когда их пишу; воскрешая передо мной таким образом прошлое, они, так сказать, удвоят мое существование. Против воли людей я еще смогу наслаждаться очарованием общения и, уже одряхлевший, буду жить с самим собой в другом веке, как жил бы с другим менее старым, чем я.

Я писал прежнюю свою «Исповедь» и «Диалоги», все время угнетаемый заботой, каким бы способом скрыть их от хищных рук моих преследователей, чтобы передать, если возможно, другим поколениям. Относительно этого сочинения такая тревога не мучает меня: я знаю, что она была бы тщетной. И по-

сколько желание быть лучше узанным людьми погасло в моем сердце, мне глубоко безразлична как судьба подлинных моих сочинений, так и судьба незыблемых доказательств моей невинности, которые, может быть, все уже истреблены и исчезли навсегда. Пусть шпионят за моими действиями, пусть хлопчут об этих листках, пусть их захватывают, пусть уничтожают, пусть подделывают, — все это отныне мне безразлично. Я не прячу их и не показываю. Если у меня еще при жизни отнимут их, у меня не отнимут ни удовольствия от сознания, что я написал их, ни воспоминания об их содержании, ни одиноких размышлений, плодом которых они явились и источник которых может исчезнуть только вместе с моей душой. Если бы я, испытав первые же бедствия, заставил себя покориться своей доле и решил на то, на что решаюсь теперь, все усилия людей, все их ужасающие козни остались бы для меня без последствий, и всеми своими интригами они возмутили бы мой покой не больше, чем в состоянии возмутить его своими теперешними успехами. Пусть они вдоволь наслаждаются моим унижением, — они не помешают мне наслаждаться сознанием моей невинности и вопреки им окончить дни свои в мире.

ПРОГУЛКА ВТОРАЯ

Таким образом, задумав описать обычное состояние своей души в самом странном положении, в каком только может когда-либо оказаться смертный, я не видел другого более простого и верного способа осуществить это намерение, как повести подробный отчет о своих одиноких прогулках и тех мечтаниях, которыми они бывают наполнены, когда я даю голове своей полную свободу и позволяю своим мыслям течь беспрепятственно и непринужденно. Эти часы одиночества и размышления — единственные за весь день, когда я бываю вполне самим собой, принадлежу себе безраздельно, без помех и могу на самом деле сказать, что я таков, каким природа пожелала меня сделать.

Скоро я понял, что слишком медлил с исполнением этого замысла. Воображение мое, уже не столь живое, как прежде, больше не вспыхивает при виде предмета, когда-то его одушевлявшего; я меньше опьяняюсь бредом мечтания; отныне во всем, что оно создает, больше воспоминаний, чем творчества; все душевные силы мои охватывает какое-то вялое томление; дух жизни мало-помалу угасает во мне; душа моя уже с трудом вырывается из своей

ветхой оболочки; и если бы не надежда достичь состояния, к которому я стремлюсь, чувствуя, что имею на него право, я жил бы только в воспоминаниях. И вот, для того чтобы созерцать самого себя до своего упадка, я вынужден вернуться по крайней мере на несколько лет назад, — к тому времени, когда, утратив всякую надежду в этом мире и не находя больше пищи для своего сердца на земле, я мало-помалу привыкал питать его собственным его веществом, отыскивать для него снесь в самом себе.

Источник этот, к которому я прибег слишком поздно, оказался таким изобильным, что скоро вознаградил меня за вес. Привычка погружаться в себя привела к тому, что я утратил наконец ощущение своих страданий и даже чуть ли не самое воспоминание о них. Я познал таким путем на собственном опыте, что источник истинного счастья в нас самих и что не во власти людей сделать подлинно несчастным того, кто хочет быть счастливым. Вот уже четыре или пять лет, как я наслаждаюсь теми внутренними радостями, которые любящие и нежные души находят в созерцании. Гуляя в одиночестве, я иногда испытываю восхищение, восторг и этой радостью обязан моим преследователям: без них я никогда не нашел и не узнал бы сокровищ, которые носил в себе самом. Среди стольких богатств — как вести им верный учет? Вызывая в памяти столько нежных мечтаний, я, вместо того чтоб их описывать, вновь погружался в них. Это состояние, воскресающее при одном воспоминании, становится непонятным, как только вовсе перестаешь его чувствовать.

Я испытал это во время прогулок, следовавших за решением писать продолжение «Исповеди», —

Содержание

Прогулки одинокого мечтателя <i>Перевод Д. Горбова</i>	5
Рассуждение о науках и искусствах <i>Перевод Н. Кареева</i>	173
Письмо к д'Аламберу о зрелищах <i>Перевод Д. Горбова</i>	215